



Старинные
рождественские
рассказы
русских писателей

Серия «Рождественский подарок»

Рождественский подарок

Сборник

**Старинные рождественские
рассказы русских писателей**

«Никея»

2018

УДК 821.161.1
ББК 84Р7

Сборник

Старинные рождественские рассказы русских писателей /
Сборник — «Никея», 2018 — (Рождественский подарок)

ISBN 978-5-91761-773-2

В этот сборник вошли рассказы русских писателей-классиков, в том числе и малоизвестных, объединенные темой Рождества и Святков. Во многих произведениях особенно значимым мотивом является утверждение христианских добродетелей.

УДК 821.161.1
ББК 84Р7

ISBN 978-5-91761-773-2

© Сборник, 2018
© Никея, 2018

Содержание

Василий Немирович-Данченко	5
Александр Круглов	8
Николай Лесков	12
Глава первая	13
Глава вторая	15
Глава третья	17
Глава четвертая	20
Глава пятая	22
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Сборник

Составитель Татьяна Викторовна Стрыгина

Старинные рождественские рассказы русских писателей

Василий Немирович-Данченко
(1844–1936)
Собака

Что это была за рождественская ночь! Пройдут еще десятки лет, тысячи лиц, встреч и впечатлений мелькнут мимо, следа не оставят, а она все будет предо мною в лунном блеске, в причудливой рамке Балканских вершин, где, казалось, все мы были так близки к Богу и Его кротким звездам...

Как теперь помню: лежали мы пластом – усталь так морила, что не хотелось даже близко к костру подвинуться.

Фельдфебель последним прилег. Ему пришлось указать места всей роте, проверить солдат, принять приказание от командира. Это был уже старый солдат, оставшийся на второй срок. Война подошла – стыдно ему показалось уходить от нее. Он принадлежал к тем, у кого под холодною внешностью бьется горячее сердце. Брови нависли сурово. И глаз не разберешь, а рассмотри их – прямо к нему со своим горем самый ледящий солдатишко доверчиво пойдет. Добрые, добрые они – и светились, и ласкали.

Лег он, потянулся... «Ну, слава Богу, теперь для-ради Рождества Христова и отдохнуть можно!» К огню повернулся, трубку вынул, закурил. «Теперь до рассвета – покой...»

И вдруг мы вздрогнули оба. Близко-близко залаяла собака. Отчаянно, точно на помощь звала. Нам было не до нее. Мы старались не слышать. Но как это было сделать, когда лай становился все ближе и оглушительнее. Собака, очевидно, бежала по всей линии костров, не останавливаясь нигде.

Нас уже пригревало костром, у меня глаза слипались, и ни с того ни с сего я даже дома очутился за большим чайным столом, должно быть, засыпать начал, как вдруг лай послышался у меня над самыми ушами.

Ко мне подбежала – и вдруг прочь кинулась. И даже заворчала. Я так и понял, что не оправдал ее доверия... К фельдфебелю сунулась, к самой голове его; тот поманил ее. Она ему в мозолистую руку холодным носом ткнулась и неожиданно завизжала и заскулила, точно зажаловалась... «Неспроста это! – вырвалось у солдата. – Пес умный... У него дело ко мне есть!..» Точно обрадовавшись, что ее поняли, собака выпустила шинель и радостно-радостно залаяла, а там опять за полу: пойдём-де, пойдём скорее!

– Неужели вы пойдете? – спросил я у фельдфебеля.

– Значит, надо! Пес всегда знает, что ему нужно... Эй, Барсуков, пойдём на случай чего.

Собака уже бежала впереди и только изредка оглядывалась.

...Должно быть, я долго спал, потому что в последние мгновения сознания в моей памяти как-то осталось – луна надо мною на высоте; а когда от внезапного шума я поднялся, она уже

была позади, и торжественная глубина неба вся искрилась звездами. «Клади, клади осторожнее! – слышалось приказание фельдфебеля. – Ближе к огню...»

Я подошел. На земле у костра лежал не то сверток, не то узел, напоминавший формой детское тело. Стали его распутывать, а фельдфебель рассказывал о том, что собака привела их на засыпанный склон горы. Там лежала замерзшая женщина. Она бережно держала у самой груди какое-то сокровище, с чем бедной «беженке», как их тогда называли, всего тяжелее было расстаться или что она хотела во что бы то ни стало, хотя бы ценою собственной жизни, сохранить и отнять у смерти... Все с себя сняла несчастная, чтобы для другого существа сберечь последнюю искру жизни, последнее тепло.

«Ребеночек? – толпились солдаты. – Ребеночек и есть!.. Вот послал на Рождество Господь... Это, братцы, к счастью».

Я дотронулся до его щек – мягкие оказались, теплые... Глаза его блаженно закрылись из-под овчины назло всей этой обстановке – боевым кострам, морозной балканской ночи, ружьям, составленным в козлы и тускло блиставшим штыками дальнему, десятками ущелий повторенному выстрелу. Перед нами покойное-покойное было детское личико, одною своею безмятежностью обесмысливавшее всю эту войну, все это истребление...

Барсуков разжевал было сухарь с сахаром, оказавшимся в чем-то запасливом солдатском кармане, но старый фельдфебель остановил его:

– Внизу сестры милосердия. У них для ребеночка и молочка найдется. Дозвольте отлучиться, ваше высокоблагородие.

Капитан дозволил и письмо даже написал, что рота берет находку на свое попечение.

Собаке очень понравилось у огня, она даже лапы вытянула и брюхом к небу обернулась. Но как только фельдфебель тронулся с места, она без сожаления бросила костер и, ткнувшись мордой в руку Барсукова, со всех ног кинулась за ним. Старый солдат нес дитя под шинелью бережно. Я знал, какой страшный путь прошли мы, и с невольным ужасом думал о том, что его ожидало: почти отвесные спуски, скользкие, обледеневшие скаты, тропки, едва державшиеся на ребрах утеса... К утру он будет внизу, а там – сдал ребенка и опять вверх, где рота уже построится и начнет свое утомительное движение в долину. Я заикнулся об этом Барсукову, но тот ответил: «А Бог-то?» – «Что?» – не понял я сразу.

– А Бог-то, говорю?.. Нешто Он попустит?..

И Бог действительно помог старику... На другой день он рассказывал: «Точно крылья несли меня. Там, где одному было жуть днем, а тут в туман спустился, ничего не вижу, а ноги сами идут, и дите ни разу не крикнуло!.. И сестры как обрадовались: „Скажи капитану, что мы его выходим и собаку приютим!“»

Но собака поступила совсем не так, как ожидали сестры. Она осталась и в первые дни пристально следила, не спуская глаз с ребенка и с них, как будто хотела убедиться, хорошо ли будет ему и заслуживают ли они ее песьего доверия. А убедившись, что и без нее ребенку будет хорошо, собака покинула госпиталь и на одном из перевалов появилась перед нами. Поприветствовав сначала капитана, потом фельдфебеля и Барсукова, она поместилась на правом фланге около фельдфебеля, и с тех пор это было ее неизменным местом.

Солдаты ее полюбили и прозвали «ротной Арапкой», хотя с арапкою у нее не было никакого сходства. Она была покрыта светло-рыжею шерстью, а голова казалась совсем белой. Тем не менее, решив, что на мелочи обращать внимания не стоит, она стала и на имя «Арапки» отзываться весьма охотно. Арапка так Арапка. Не все ли равно – лишь бы с хорошими людьми дело иметь.

Благодаря этому чудесному псу было спасено много жизней. Она рыскала по всему полю после боев и громким отрывистым лаем обозначала тех, кому еще могла принести пользу наша помощь. Она не останавливалась над мертвыми. Верный собачий инстинкт указывал ей, что

вот тут под напухшими комьями грязи еще бьется сердце. Она живо дорывалась до раненого своими кривыми лапами и, подав голос, бежала к другим.

– Тебе бы, по-настоящему, медаль следовало дать, – ласкали ее солдаты.

Но животным, даже самым благородным, дают, к сожалению, медали за породу, а не за подвиги милосердия. Мы ограничились только тем, что заказали ей ошейник с надписью: «За Шипку и Хаскиой – верному товарищу»...

Много лет прошло с тех пор. Ехал я как-то по задонскому приволью. Русский простор охватывал меня отовсюду своими ласковыми зелеными, могучим дыханием неоглядных далей, неуловимую нежностью, что живописным источником пробивается сквозь его видимое уныние. Сумей подслушать его, найти, напейся его воскрешающей воды, и жива душа будет, и потемки рассеются, и сомнению места не останется, и сердце, как цветок, откроется теплу и свету... И зло пройдет, и добро останется во веки веков.

Вечерело... Мой ямщик добрался наконец до села и остановился на постоялом дворе. Мне не сиделось в душной, полной назойливых мух комнате, и я вышел на улицу. Вдали – крыльцо. На нем пес растянулся – дряхлый-дряхлый... куций. Подошел. Господи! Старый товарищ – на ошейнике прочитал: «За Шипку и Хаскиой...» Арапка, милая! Но она не узнала меня. Я – в избу: дед сидит на лавке, мелюзга кругом шебаршит. «Батюшка, Сергей Ефимович, вы ли это?» – крикнул я. Вскинулся старый фельдфебель – разом узнал. О чем мы говорили, кому до того дело? Наше нам дорого, и на весь свет кричать об этом даже стыдно, поди... Арапку мы позвали – едва доползла и у ног хозяина улеглась. «Помирать нам с тобой пора, ротный товарищ, – гладил ее старик, – довольно пожили на покое». Собака подымала на него угасавшие глаза и повизгивала: «Пора-де, ох, давно пора».

– Ну а что с ребенком случилось, известно?

– Приезжала! – И дедушка радостно улыбнулся. – Отыскала меня, старика...

– Здесь?

– Да! Барыня совсем. И все у нее по-хорошему. Меня приласкала – подарков навезла. Арапку в самую морду поцеловала. Просила ее у меня. «У нас, – говорит, – холить ее станут...» Ну да нам-то не расстаться с ней. И она от тоски подохнет.

– А Арапка ее узнала?

– Ну, где... Комочек ведь была она тогда... девчонка-то... Эх, брат Арапка, пора нам с тобою на вечное успокоение. Пожили, будет... А?

Арапка вздохнула.

1876

Александр Круглов

(1853–1915)

Наивные люди

Из воспоминаний

Шумит, болезненно стонет вьюга; мокрым снегом залепляет она узенькое окно моей маленькой, сумрачной комнаты.

Я один. В комнатке моей тихо. Только часы своим мерным, монотонным стуком нарушают ту гробовую тишину, от которой нередко чувствуется жутко на сердце одинокого человека.

Боже мой, как устаешь за день от этого несмолкаемого гула, сутолоки столичной жизни, от блестящих напыщенных фраз, неискренних соболезнований, бессмысленных расспросов и всего более от этих пошлых, двусмысленных улыбок! Нервы намучиваются до того, что противны и ненавистны даже становятся все эти добрые, улыбающиеся физиономии, эти наивные, беззаботные счастливицы, вследствие «легкости сердца» не сознающие того, что они терзают своих приятелей излишним участием хуже всякого врага!

Слава Богу, я опять один, в своей сумрачной конуре, среди дорогих мне портретов, среди верных друзей – книг, над которыми когда-то много плакалось, которые заставляли биться сердце так, как оно устало и разучилось уже биться теперь.

Сколько дорогих пометок хранят свято эти мои неизменные друзья, никогда ни в чем не клявшиеся, но зато и не нарушавшие постыдно обетов. А сколько клятв и уверений брошено на воздух, хуже – на мостовую, под ноги снующей толпы! Сколько рук, когда-то протягивавших тебе объятия, теперь отвечают только холодным пожатием, может быть, даже с насмешкою указывают на тебя своим новым друзьям, которые были и будут всегда твоими заклятыми врагами. А сколько близких людей пришлось потерять, так или иначе... разве для сердца не все равно? Вот он, этот разбитый портрет. Когда-то... опять эти воспоминания! Но зачем, минувшее, снова восстаешь ты в моем воображении теперь, в эту ненастную декабрьскую ночь? Зачем ты смущаешь меня, нарушаешь мой покой призраками того, что прошло и невозвратно?... Невозвратно! Это сознание больно до слез, страшно до отчаяния!

Но улыбающийся призрак не исчезает, не уходит прочь. Он точно наслаждается мучениями, хочет, чтобы слезы, подступающие к горлу, полились на страницы старой тетради, чтобы хлынула кровь из растравленной раны и глухая скорбь, молчаливо притаившаяся в сердце, судорожными рыданиями вырвалась бы наружу.

Что осталось от прошлого? Страшно ответить! И страшно, и больно. Когда-то верилось, надеялось – а во что верить теперь? На что надеяться? Чем гордиться? Гордиться ли тем, что имеешь руки работать для себя; голову, чтобы думать о себе; сердце, чтобы страдать, тоскуя о прошлом?

Идешь вперед бесцельно, бездумно; идешь, и, когда, утомленный, остановишься для минутного роздыха, в голове шевелится неотвязная мысль, а сердце занывает от мучительного желания: «Ах, если бы можно было полюбить! Если бы было кого любить!» Но нет! некого и нельзя! Что разбито вдребезги, то уже нельзя восстановить.

А вьюга шумит и с болезненным стоном хлещет мокрым снегом в окно.

О, недаром так неотвязно стоит предо мною улыбающийся призрак прошлого! Недаром опять выплывает светлый и милый образ! Декабрьская ночь! Такая же вьюжная, такая же бурная была та декабрьская ночь, в которую разбился этот портрет, склеенный после и теперь опять стоящий на моем письменном столе. Но не только один портрет разбился в эту ненаст-

ную декабрьскую ночь, вместе с ним разбились и те грезы, те надежды, что зародились в сердце в одно ясное апрельское утро.

<...>

В начале ноября я получил из Энска телеграмму о болезни матери. Бросив все дела, я полетел с первым же поездом на родину. Мать я застал уже мертвою. В ту самую минуту, когда я входил в дверь, ее клали на стол.

Обе сестры мои были убиты горем, которое совершенно неожиданно постигло нас. И по просьбе сестер, и по требованию дел, оставшихся после матери неоконченными, я решил прожить в Энске до середины декабря. Если бы не Женя, я остался бы, может быть, и на Рождество; но меня влекло к ней, и я 15 или 16 декабря уехал в Петербург.

Прямо с вокзала я проехал к Лихачевым.

Никого не было дома.

– Где же они? – спросил я.

– Да уехали в «Ливадию». Целая компания!

– И Евгения Александровна?

– И оне-с.

– Что она? Здорова?

– Ничего-с, веселые такие; об вас только все вспоминают.

Я велел кланяться и уехал. На другой день рано утром ко мне явился посыльный с письмом. Оно было от Жени. Она убедительно просила приехать к Лихачевым к обеду. «Непреренно», – подчеркивала она.

Я приехал.

Она радостно встретила меня.

– Наконец-то! Наконец-то! Разве можно было так долго оставаться? Мы все здесь, особенно я, соскучились без вас, – говорила она.

– Не думаю, – сказал я, слегка улыбаясь. – В «Ливадии»...

– Ах, как там было весело, милый Сергей Иванович! Как весело! А вы не рассердитесь? Нет? Скажите, что нет, – вдруг как-то робко, тихо проговорила она.

– Что такое?

– Я завтра еду в маскарад. Какой костюм! Я... нет, я вам теперь не скажу. Вы завтра будете у нас?

– Нет, не буду. Завтра весь вечер я буду занят.

– Ну так я заеду перед маскарадом. Можно? Позволите?

– Хорошо. Но с кем же вы едете? С Метелевым?

– Нет, нет! Мы одни, с Павлом Ивановичем. Но Сергей Васильевич будет. И знаете, что еще?

– Что?

– Нет, не скажу. Так завтра! Да? Можно?

– Можно.

– Милый! Хороший!..

Вошла девушка и позвала нас обедать.

Я сидел в своей комнатке, в той самой, где сижу и теперь, маленькой и сумрачной, и писал торопливо газетный фельетон, когда вдруг раздался в передней сильный звонок и послышался серебристый голосок Жени: «Дома? один?»

– Дома-с, пожалуйста! – отвечала прислуга.

Дверь с шумом отворилась, и в комнату влетела... Гретхен! Да, Гретхен, настоящая гётевская Гретхен!

Я встал к ней навстречу, взял за руку и долго не мог отвести глаз от этой милой изящной фигурки, от этого дорогого мне ребенка!

Ах, как она была прекрасна в этот вечер! Она была обворожительно хороша! Я никогда не видел ее такую. Лицо все сияло, игра какая-то особенная виднелась в каждой черте, в каждой фибре ее лица. А глаза, эти голубые, прелестные глаза блестели, светились...

– Не правда ли, хороша ведь я? – вдруг промолвила Женя, подходя ко мне, и обняла меня.

У меня помутилось в глазах, когда она крепко обхватила меня руками и близко, близко приблизила ко мне свое лицо. «Или теперь, или никогда», – промелькнуло в моем сознании.

– А ты хотела, чтобы тебя находили такую? Чтобы ты нравилась? – проговорил я полу-сознательно.

– Да, – пролепетала она. – Впрочем, нет! – вдруг спохватилась она. – Зачем? Ты ведь меня любишь... и еще...

Она вдруг почти совсем прижалась ко мне и повисла на моей шее.

– Хороший мой Сергей Иванович, знаешь, что я хочу сказать тебе?.. Сказать?

– Что такое? – едва мог выговорить я от того волнения, которое охватило меня. – Скажи!

– Ты ведь друг мой, да? Ты ведь порадуешься за меня, за твою Женю?

Сердце мое с болью сжалось, как бы от предчувствия чего-то недоброго.

– Что такое? – только и мог я выговорить.

– Я люблю его, хороший мой!.. Люблю... Я давно хотела сказать тебе... да... не могла!.. А теперь... мы вчера объяснились... он тоже любит!.. Милый мой! Ты рад?

Она подняла голову, откинула ее немного назад и устремила на меня в упор свои глаза, блестящие слезами счастья и блаженства.

Я не мог говорить сразу. Тоже слезы, но совсем уже другие подступали к горлу. Я сам не знаю, откуда взялись у меня слезы; но я овладел собою и не выдал той муки, от которой едва не разорвалось мое сердце.

– Поздравляю, – сказал я, стараясь произнести эту фразу надлежащим тоном. – Конечно, я очень рад... твоё счастье – мое счастье.

«В любви не может быть эгоизма», – вспомнилось мне.

– Когда же свадьба? Или еще неизвестно?

– Как можно скорее. Он хотел, чтобы я объявила тебе сначала, и если ты не хочешь...

– При чем же я тут, Женя? Ты любишь, тебя любят, вы оба счастливы... Что же я? Мне остается только радоваться за вас, и я радуюсь; а устроить свадьбу недолго. Сейчас после Рождества! У меня, Женя, хранится ваш капитал в двадцать тысяч, но я отдам вам полный отчет.

– Ох, что ты! Зачем это! Разве мы... разве я тебе не верю? Не надо, не надо! Полно, хороший мой!

И она вдруг опять обняла меня и поцеловала. Часы пробили десять.

– Ах, – спохватилась Женя, – уже десять; в одиннадцать надо ехать. Прощай же, до свиданья! Так ты рад за меня, да?

– Рад, рад!

– Хороший!

Она крепко пожала мне руку и повернулась, чтобы уйти, но задела рукавом за свой маленький портрет, стоявший на моем столе, и уронила его. Рамка расколосась, а стекло разбилось вдребезги.

– Ах, что я наделала! – воскликнула она. – И как это нехорошо! – вдруг прибавила она.

– Напротив, это прекрасный знак! – заметил я, подымая портрет. – Когда бьют что на праздниках, это очень хорошо; а ведь у тебя праздник!

Она приветливо улыбнулась и выпорхнула из комнаты.

И я остался один. Теперь я уже не мог плакать, нет, я опустил в кресло, в котором сидел ранее за работою, и так просидел в нем до зари.

Когда на другой день я вышел, меня едва можно было узнать.

– Да что с вами? Вы точно сейчас с кладбища, где оставили самого близкого человека, – спросил меня кто-то.

«А разве это не так на самом деле? – думалось мне. – Разве я не похоронил ее? Разве я не похоронил свое сердце... и свою первую любовь? Все это умерло. И она хотя еще жива, счастлива, но она уже умерла для меня...»

* * *

И вот уже семь лет пронеслось с этой декабрьской ночи. Я не знаю, где теперь она, моя Гретхен, счастлива или нет?.. Но я... я выполнил свой обет!.. Если любишь – ты поможешь ее счастью и ради ее откажешься от своего!

Я отказался. Я один теперь в этой сумрачной комнате. И в нее никогда уже не зайдет она, не раздастся ее голос... Какая темная комната! Но она не была бы такою, если бы... если бы здесь со мною была Гретхен. Не была бы и жизнь моя такою безрассветною, скучною и томительною, если бы светили мне чудные голубые глаза и ободряла бы меня ее милая, ясная улыбка... А впрочем...

1881

Николай Лесков
(1831–1895)
Обман

Смоковница отмечает пугы своя от ветра велика.
Анк. VI, 13

Глава первая

Под самое Рождество мы ехали на юг и, сидя в вагоне, рассуждали о тех современных вопросах, которые дают много материала для разговора и в то же время требуют скорого решения. Говорили о слабости русских характеров, о недостатке твердости в некоторых органах власти, о классицизме и о евреях. Более всего прилагали забот к тому, чтобы усилить власть и вывести в расход евреев, если невозможно их исправить и довести, по крайней мере, хотя до известной высоты нашего собственного нравственного уровня. Дело, однако, выходило не радостно: никто из нас не видел никаких средств распорядиться властью или достигнуть того, чтобы все, рожденные в еврействе, опять вошли в утробы и снова родились совсем с иными натурами.

– А в самой вещи – как это сделать?

– Да никак не сделаешь.

И мы безотрадно поникли головами.

Компания у нас была хорошая – люди скромные и, несомненно, основательные.

Самым замечательным лицом в числе пассажиров, по всей справедливости, надо было считать одного отставного военного. Это был старик атлетического сложения. Чин его был неизвестен, потому что из всей боевой амуниции у него уцелела одна фуражка, а все прочее было заменено вещами статского издания. Старик был беловолос, как Нестор, и крепок мышцами, как Сампсон, которого еще не остригла Далила. В крупных чертах его смуглого лица преобладало твердое и определительное выражение и решимость. Без всякого сомнения, это был характер положительный и притом – убежденный практик. Такие люди не вздор в наше время, да и ни в какое иное время они не бывают вздором.

Старец все делал умно, отчетливо и с соображением; он вошел в вагон раньше всех других и потому выбрал себе наилучшее место, к которому искусно присоединил еще два соседние места и твердо удержал их за собою посредством мастерской, очевидно заранее обдуманной, раскладки своих дорожных вещей. Он имел при себе целые три подушки очень больших размеров. Эти подушки сами по себе уже составляли добрый багаж на одно лицо, но они были так хорошо гарнированы, как будто каждая из них принадлежала отдельному пассажиру: одна из подушек была в синем кубовом ситце с желтыми незабудками, такие чаще всего бывают у путников из сельского духовенства; другая – в красном кумаче, что в большом употреблении по купечеству, а третья – в толстом полосатом тике, это уже настоящая штабс-капитанская. Пассажир, очевидно, не искал ансамбля, а искал чего-то более существенного – именно приспособительности к другим гораздо более серьезным и существенным целям.

Три разношерстные подушки могли кого угодно ввести в обман, что занятые ими места принадлежат трем разным лицам, а предусмотрительному путешественнику этого только и требовалось.

Кроме того, мастерски заделанные подушки имели не совсем одно то простое название, какое можно было придать им по первому на них взгляду. Подушка в полосатом была собственно чемодан и погребец, и на этом основании она пользовалась преимущественным перед другими вниманием своего владельца. Он поместил ее vis-a-vis перед собою и, как только поезд отвалил от амбаркадера, тотчас же облегчил и поослабил ее, расстегнув для того у ее наволочки белые костяные пуговицы. Из пространного отверстия, которое теперь образовалось, он начал вынимать разнокалиберные, чисто и ловко завернутые сверточки, в которых оказались сыр, икра, колбаса, сайки, антоновские яблоки и ржевская пастила. Всего веселее выглянула на свет хрустальная фляжка, в которой находилась удивительно приятного фиолетового цвета жидкость с известною старинною надписью: «Ея же и монаси приемлят». Густой аметистовый цвет

жидкости был превосходный, и вкус, вероятно, соответствовал чистоте и приятности цвета. Знатоки дела уверяют, будто это никогда одно с другим не расходится.

Во все время, пока прочие пассажиры спорили о жидах, об отечестве, об измельчании характеров и о том, как мы «во всем сами себе напортили» и вообще занимались «оздоровлением корней», беловласый богатырь сохранял величавое спокойствие. Он держал себя как человек, который знает, когда ему придет время сказать свое слово, а пока он просто кушал разложенную им на полосатой подушке провизию и выпил три или четыре рюмки той аппетитной влаги «Ея же и монаси приемлят». Во все это время он не проронил ни одного звука. Но зато, когда у него все это важнейшее дело было окончено как следует и когда весь буфет был им снова тщательно убран, он щелкнул складным ножом и закурил с собственной спички невероятно толстую, самодельную папиросу, потом вдруг заговорил и сразу завладел всеобщим вниманием.

Говорил он громко, внушительно и смело, так что никто не думал ему возражать или противоречить, а главное, он ввел в беседу живой общезанимательный любовный элемент, к которому политика и цензура нравов примешивались только слегка, левою стороною, не докучая и не портя живых приключений мимо протекшей жизни.

Глава вторая

Он начал речь свою очень деликатно – каким-то чрезвычайно приятным и в своем роде даже красивым обращением к пребывающему здесь «обществу», а потом и перешел прямо к предмету давних и ныне столь обыденных суждений.

– Видите ли, – сказал он, – мне все это, о чем вы говорили, не только не чуждо, но даже, вернее сказать, очень знакомо. Мне, как видите, уже немало лет, я много жил и могу сказать – много видел. Все, что вы говорите про жидов и поляков, – это все правда, но все это идет от нашей собственной русской, глупой деликатности; все хотим всех деликатней быть. Чужим мирволим, а своих давим. Мне это, к сожалению, очень известно, и даже больше того, чем известно, я это испытал на самом себе-с, но вы напрасно думаете, что это только теперь настало: это давно завелось и напоминает мне одну роковую историю. Я, положим, не принадлежу к прекрасному полу, к которому принадлежала Шехеразада, однако я тоже очень бы мог позанять иного султана не пустыми рассказами. Жидов я очень знаю, потому что живу в этих краях и здесь постоянно их вижу, да и в прежнее время, когда еще в военной службе служил и когда по роковому случаю городничим был, так немало с ними повозился. Случалось у них и деньги занимать, случалось и за пейсы их трепать, и в шею выталкивать, всего приводил Бог, – особенно когда жид придет за процентами, а заплатить нечем. Но бывало, что я и хлеб-соль с ними водил, и на свадьбах у них бывал, и мацу, и гугель, и аманово ухо у них ел, а к чаю их булки с чернушкой и теперь предпочитаю не пропеченной сайке, но того, что с ними теперь хотят сделать, – этого я не понимаю. Нынче о них везде говорят и даже в газетах пишут... Из-за чего это? У нас, бывало, простохватишь его чубуком по спине, а если он очень дерзкий, то клюквой в него выстрелишь – он и бежит. И жид большего не стоит, а выводить его совсем в расход не надо, потому что при случае жид бывает человек полезный.

Что же касается в рассуждении всех подлостей, которые евреям приписывают, так я вам скажу, это ничего не значит перед молдаванами и еще валахами, и что я с своей стороны предложил бы, так это не вводить жидов в утробы, ибо это и невозможно, а помнить, что есть люди хуже жидов.

– Кто же, например?

– А например, румыны-с!

– Да, про них тоже нехорошо говорят, – отозвался солидный пассажир с табакеркой в руках.

– О-о, батюшка мой, – воскликнул, весь оживившись, наш старец, – поверьте мне, что это самые худшие люди на свете. Вы о них только слышали, но по чужим словам, как по лестнице, можно черт знает куда залезть, а я все сам на себе испытал и, как православный христианин, свидетельствую, что хотя они и одной с нами православной веры, так что, может быть, нам за них когда-нибудь еще и воевать придется, но это такие подлецы, каких других еще и свет не видал.

И он нам рассказал несколько плутовских приемов, практикующихся или некогда практиковавшихся в тех местах Молдавии, которые он посещал в свое боевое время, но все это выходило не ново и мало эффектно, так что бывший среди прочих слушателей пожилой лысый купец даже зевнул и сказал:

– Это и у нас музыка известная!

Такой отзыв оскорбил богатыря, и он, слегка сдвинув брови, молвил:

– Да, разумеется, русского торгового человека плутом не удивишь!

Но вот рассказчик оборотился к тем, которые ему казались просвещеннее, и сказал:

– Я вам, господа, если на то пошло, расскажу анекдотик из ихнего привилегированного-то класса; расскажу про их помещичьи нравы. Тут вам кстати будет и про эту нашу дымку

очес, через которую мы на все смотрим, и про деликатность, которую только своим и себе вредим.

Его, разумеется, попросили, и он начал, пояснив, что это составляет и один из очень достопримечательных случаев его боевой жизни.

Глава третья

Рассказчик начал так:

– Человек, знаете, всего лучше познается в деньгах, картах и в любви. Говорят, будто еще в опасности на море, но я этому не верю, – в опасности иной трус развоюется, а смельчак спасует. Карты и любовь... Любовь даже может быть важнее карт, потому что всегда и везде в моде: поэт это очень правильно говорит: «любовь царит во всех сердцах», без любви не живут даже у диких народов, – а мы, военные люди, ею «все движимся и есьми». Положим, что это сказано в рассуждении другой любви, однако, что попы ни сочиняй, – всякая любовь есть «влечение к предмету». Это у Курганова сказано. А вот предмет предмету рознь – это правда. Впрочем, в молодости, а для других даже еще и под старость, самый всеупотребительный предмет для любви все-таки составляет женщина. Никакие проповедники этого не могут отменить, потому что Бог их всех старше и как Он сказал: «Не благо быть человеку единому», так и остается.

В наше время у женщин не было нынешних мечтаний о независимости, чего я, впрочем, не осуждаю, потому что есть мужья совершенно невозможные, так что верность им даже можно в грех поставить. Не было тогда и этих гражданских браков, как нынче завелось. Тогда на этот счет холостежь была осторожнее и дорожила свободой. Браки были тогда только обыкновенные, настоящие, в церкви петые, при которых обычаем не возбранялась свободная любовь к военным. Этого греха, как и в романах Лермонтова, видно было действительно очень много, но только происходило все это по-раскольничьи, то есть «без доказательств». Особенно с военными, народ перехожий, нигде корней не пускали: нынче здесь, а завтра затрубим и на другом месте очутимся – следовательно, что шито, что вито – все позабыто. Стеснения никакого. Зато нас и любили, и ждали. Куда, бывало, в какой городишко полк ни вступит, – как на званый пир, сейчас и закипели шуры-муры. Как только офицеры почистятся, поправятся и выйдут гулять, так уже в прелестных маленьких домиках окна у барышень открыты и оттуда летит звук фортепиано и пение. Любимый романс был:

Как хорош – не правда ль, мама, —
Постоялец наш удалый,
Мундир золотом весь шитый,
И как жар горят ланиты,
Боже мой,
Боже мой,
Ах, когда бы он был мой.

Ну уж, разумеется, из какого окна услышал это пение, туда глазом и мечешь – и никогда не даром. В тот же день к вечеру, бывало, уже полетят через денщиков и записочки, а потом пойдут порхать к господам офицерам горничные...

Тоже не нынешние субретки, но крепостные, и это были самые бескорыстные создания. Да мы, разумеется, им часто и платить ничем иным не могли, кроме как поцелуями. Так и начинаются, бывало, любовные утехы с посланниц, а кончаются с пославшими. Это даже в водевиле у актера Григорьева на театрах в куплете пели:

Чтоб с барышней слюбиться,
За девкой волочись.

При крепостном звании горничною не называли, а просто – девка.

Ну, понятно, что при таком лестном внимании все мы, военные люди, были чертовски женщинами избалованы! Тронулись из Великой России в Малороссию – и там то же самое; пришли в Польшу – а тут этого добра еще больше. Только польки ловкие – скоро женить наших начали. Нам командир сказал: «Смотрите, господа, осторожно», и действительно, у нас Бог спасал – женитьбы не было. Один был влюблен таким образом, что побежал предложение делать, но застал свою будущую тещу наедине и, к счастью, ею самую так увлекся, что уже не сделал дочери предложения. И удивляться нечему, что были успехи, – потому что народ молодой и везде встречали пыл страсти. Нынешнего житья ведь тогда в образованных классах не было... Внизу там, конечно, пищали, но в образованных людях просто зуд любовный одолевал, и притом внешность много значила. Девушки и замужние признавались, что чувствуют этакое, можно сказать, какое-то безотчетное замирание при одной военной форме... Ну а мы знали, что на то селезню дано в крылья зеркальце, чтобы утице в него поглядеться хотелось. Не мешали им собой любоваться...

Из военных не много было женатых, потому что бедность содержания и скучно. Женившись, тащись сам на лошадке, жена на коровке, дети на телятках, а слуги на собачках. Да и к чему, когда и одинокие тоски жизни одинокой, по милости Божией, никогда нимало не испытывали. А уж о тех, которые собой поавантажнее, или могли петь, или рисовать, или по-французски говорить, то эти часто даже не знали, куда им деваться от рога избылиия. Случалось даже, в придачу к ласкам и очень ценные безделушки получали, и то так, понимаете, что отбиться от них нельзя... Просто даже бывали случаи, что от одного случая вся, бедняжка, вскрыется, как клад от аминя, и тогда непременно забирай у нее что отдает, а то сначала на коленях просит, а потом обидится и заплачет. Вот у меня и посейчас одна такая заветная балаболка на руке застряла.

Рассказчик показал нам руку, на которой на одном толстом, одеревяневшем пальце заплыл старинной работы золотой эмальированный перстень с довольно крупным алмазом. Затем он продолжил рассказ:

– Но такой нынешней гнусности, чтобы с мужчин чем-нибудь пользоваться, этого тогда даже и в намеках не было. Да и куда, и на что? Тогда ведь были достатки от имений, и притом еще и простота. Особенно в уездных городках ведь чрезвычайно просто жили. Ни этих нынешних клубов, ни букетов, за которые надо деньги заплатить и потом бросить, не было. Одевались со вкусом – мило, но простенько: или этакий шелковый марсельинец, или цветная кисейка, а очень часто не пренебрегали и ситчиком или даже какую-нибудь дешевенькою цветною холстинкою. Многие барышни еще для экономии и фартучки и бретельки носили с разными этакими бахромочками и городками, и часто это очень красиво и нарядно было, и многим шло. А прогулки и все эти рандевушки совершались совсем не по-нынешнему. Никогда не приглашали дам куда-нибудь в загородные кабаки, где только за все дерут вдесятеро да в шелки подсматривают. Боже сохрани! Тогда девушка или дама со стыда бы сгорела от такой мысли и ни за что бы не поехала в подобные места, где мимо одной лакузы-то пройти – все равно как сквозь строй! И вы сами ведете свою даму под руку, видите, как те подлецы за вашими плечами зубы скалят, потому что в их холопских глазах что честная девица, что женщина, увлекаемая любовною страстию, что какая-нибудь дама из Амстердама – это все равно. Даже если честная женщина скромнее себя держит, так они о ней еще ниже судят: «Тут, дескать, много поживы не будет: по барыньке и говядинка».

Нынче этим манкируют, но тогдашняя дама обиделась бы, если бы ей предложить хотя бы самое приятное уединение в таком месте.

Тогда был вкус и все искали, как все это облагородить, и облагородить не каким-нибудь фанфаронством, а именно изящной простотою, чтобы даже ничто не подавало воспоминаний о презренном металле. Влюбленные всего чаще шли, например, гулять за город, рвать в цветущих полях васильки, или где-нибудь над речечкой под лозою рыбу удить, или вообще

что-нибудь другое этакое невинное и простосердечное. Она выйдет с своею крепостною, а ты сядишь на рубежечке, поджидаешь. Девушку, разумеется, оставишь где-нибудь на меже, а с барышней углубишься в чистую зреющую рожь... Это колосья, небо, букашки разные по стебелькам и по земле ползают... А с вами молодое существо, часто еще со всей институтской невинностью, которое не знает, что говорить с военным, и, точно у естественного учителя, спрашивает у вас: «Как вы думаете: это букан или букашка?..» Ну, что тут думать: букашка это или букан, когда с вами наедине и на вашу руку опирается этаким живой, чистейший ангел! Закружатся головы, и, кажется, никто не виноват и никто ни за что отвечать не может, потому что не ноги тебя несут, а самое поле в лес уплывает, где этакое дубы и клены, и в их тени задумчивы дриады!.. Ни с чем, ни с чем в мире не сравнимое состояние блаженства! Святое и безмятежное счастье!..

Рассказчик так увлекся воспоминаниями высоких минут, что на минуту умолк. А в это время кто-то тихо заметил, что для дриад это начиналось хорошо, но кончалось не без хлопот.

– Ну да, – отозвался повествователь, – после, разумеется, ищи, что на орле, на левом крыле. Но я о себе-то, о кавалерах только говорю: мы привыкли принимать себе такое женское внимание и сакрифисы в простоте, без рассуждений, как дар Венеры Марсу следующий, и ничего продолжительного ни для себя не требовали, ни сами не обещали, а пришли да взяли – и поминай как звали. Но вдруг крутой перелом! Вдруг прямо из Польши нам пришло неожиданное назначение в Молдавию. Поляки мужчины страсть как нам этот румынский край расхваливали: «Там, говорят, куконы, то есть эти молдаванские дамы, – такая краса природы, совершенство, как в целом мире нет. И любовь у них будто получить ничего не стоит, потому что они ужасно пламенные».

Что же, мы очень рады такому кладу.

Наши ребята и расхорохорились. Из последнего тянутесь, перед выходом всяких перчаток, помад и духов себе в Варшаве понакупили и идут с этим запасом, чтобы куконы сразу поняли, что мы на руку лапоть не обуваем.

Затрубили, в бубны застучали и вышли с веселою песнею:

Мы любовниц оставляем,
Оставляем и друзей.
В шумном виде представляем
Пулей свист и звук мечей.

Ждали себе невесть каких благодатей, а вышло дело с такой развязкою, какой никаким образом невозможно было представить.

Глава четвертая

Вступали мы к ним со всем русским радушием, потому что молдаване все православные, но страна их нам с первого же впечатления не понравилась: низменность, кукуруза, арбузы и земляные груши прекрасные, но климат нездоровый. Очень многие у нас еще на походе переболели, а к тому же ни приветливости, ни благодарности нигде не встречаем.

Что ни понадобится – за все давай деньги, а если что-нибудь, хоть пустяки, без денег у молдава возьмут, так он, чумазый, заголосит, будто у него дитя родное отняли. Воротишь ему – бери свои костыли, только не голоси, так он спрячет и сам уйдет, так что его, черта лохматого, нигде и не отыщешь. Иной раз даже проводить или дорогу показать станет и некому – все разбегутся. Трусишки единственные в мире, и в низшем классе у них мы ни одной красивой женщины не заметили. Одни девчонки чумазые да пребезобразнейшие старухи.

Ну, думаем себе, может быть, у них это так только в хуторах придорожных: тут всегда народ бывает похуже; а вот придем в город, там изменится. Не могли же поляки совсем без основания нас уверять, что здесь хороши и куконы! Где они, эти куконы? Посмотрим.

Пришли в город, ан и здесь то же самое: за все решительно извольте платить.

В рассуждении женской красоты поляки сказали правду. Куконы и куконицы нам очень понравились – очень томны и так гибки, что даже полек превосходят, а ведь уж польки, знаете, славятся, хотя они, на мой вкус, немножко большеваты, и притом в характере капризов у них много. Пока дойдет до того, что ей по Мицкевичу скажешь: «Коханка моя! на цо нам размова», – вволю ей накланяешься. Но в Молдавии совсем другое – во всем жид действует. Да-с, простой жид, и без него никакой поэзии нет. Жид является к вам в гостиницу и спрашивает: не тяготитесь ли вы одиночеством и не причуяли ли какую-нибудь кукону?

Вы ему говорите, что его услуги вам не годятся, потому что сердце ваше уязвлено, например, такую-то или такую-то дамою, которую вы видели, например скажете, в таком-то или таком-то доме под шелковым шатром на балконе. А жид вам отвечает: «Мозно».

Поневоле окрик дашь:

– Что такое «мозно»?!

Отвечает, что с этою дамою можно иметь компанию, и сейчас же предлагает, куда надо выехать за город, в какую кофейню, куда и она приедет туда с вами кофе пить. Сначала думали – это вранье, но нет-с, не вранье. Ну, с нашей мужской стороны, разумеется, препятствий нет, все мы уже что-нибудь присмотрели и причуяли и все готовы вместе с какою-нибудь куконною за город кофе пить.

Я тоже сказал про одну кукону, которую видел на балконе. Очень красивая. Жид сказал, что она богатая и всего один год замужем.

Что-то уж, знаете, очень хорошо показалось, так что даже и плохо верится. Переспросил еще раз и опять то же самое слышу: богатая, год замужем и кофе с нею пить можно.

– Не врешь ли ты? – говорю жиду.

– Зачем врать? – отвечает. – Я все честно сделаю: вы сидите сегодня вечером дома, а как только смеркнется, к вам придет ее няня.

– А мне на какой черт нужна ее няня?

– Иначе нельзя. Это здесь такой порядок.

– Ну, если такой порядок, то делать нечего, в чужой монастырь с своим уставом не ходят. Хорошо; скажи ее няне, что я буду сидеть дома и буду ее дожидаться.

– И огня, – говорит, – у себя не зажигайте.

– Это зачем?

– А чтобы думали, что вас дома нет.

Пожал плечами и на это согласился.

– Хорошо, – говорю, – не зажгу.

В заключение жид с меня за свои услуги червонец потребовал.

– Как, – говорю, – червонец! Ничего еще не видя, да уж и червонец! Это жирно будет.

Но он, шельма этакий, должно быть, травленный. Улыбается и говорит:

– Нет, уж после того как увидите – поздно будет получать. Военные, говорят, тогда не того...

– Ну, – говорю, – про военных ты не смей рассуждать, – это не твое дело, а то я разобью тебе морду и рыло и скажу, что оно так и было.

А впрочем, дал ему злата и проклял его и верного позвал раба своего.

Дал денщику двугривенный и говорю:

– Ступай куда знаешь и нарежься как сапожник, только чтобы вечером тебя дома не было.

Все, замечайте, прибавляется расход к расходу. Совсем не то что васильки рвать. Да, может быть, еще и няньку надо позолотить.

Наступил вечер; товарищи все разошлись по кофейням. Там тоже девицы служат, и есть довольно любопытные, – а я притворился, солгал товарищам, будто зубы болят и будто мне надо пойти в лазарет к фельдшеру каких-нибудь зубных капель взять, или совсем пускай зуб выдернет. Обежал поскорей квартал да к себе в квартиру – нырнул незаметно; двери отпер и сел без огня при окошечке. Сижу как дурак, дожидаясь: пульс колотится и в ушах стучит. А у самого уже и сомнение закралось, думаю: не обманул ли меня жид, не наговорил ли он мне про эту няньку, чтобы только червонец себе схватить...

И теперь где-нибудь другим жидам хвалится, как он офицера надул, и все помирают, хохочут. И в самом деле, с какой стати тут няня и что ей у меня делать?.. Преглупое положение, так что я уже решил: еще подожду, пока сто сосчитаю, и уйду к товарищам.

Глава пятая

Вдруг, я и полсотни не сосчитал, раздался тихонечко стук в двери и что-то такое вползает – шуршит этаким чем-то твердым. Тогда у них шалоновые мантоны носили, длинные, а шалон шуршит.

Без свечи-то темно у меня так, что ничего ясно не рассмотришь, что это за кукуруза.

Только от уличного фонаря чуть-чуть видно, что гостья моя, должно быть, уже очень большая старушенция. И однако, и эта с предосторожностями, так что на лице у нее вуаль.

Вошла и шепчет:

– Где ты?

Я отвечаю:

– Не бойся, говори громко: никого нет, а я дожидаюсь, как сказано. Говори, когда же твоя кукона поедет кофе пить?

– Это, – говорит, – от тебя зависит.

И все шепотом.

– Да я, – говорю, – всегда готов.

– Хорошо. Что же ты мне велишь ей передать?

– Передай, мол, что я ею поражен, влюблен, страдаю, и когда ей угодно, я тогда и явлюсь, хотя, например, завтра вечером.

– Хорошо, завтра она может приехать.

Кажется, ведь надо бы ей после этого уходить, не так ли? Но она стоит-с!

– Чего-с?!

Надо, видно, проститься еще с одним червонцем. Себе бы он очень пригодился, но уж нечего делать – хочу ей червонец подать, как она вдруг спрашивает, согласен ли я сейчас, с нею послать куконе триста червонцев?

– Что-о-о тако-о-ое?

Она преспокойно повторяет «триста червонцев» и начинает мне шептать, что муж ее куконы хотя и очень богат, но что он ей неверен и проживает деньги с итальянскою графинею, а кукона совсем им оставлена и даже должна на свой счет весь гардероб из Парижа выписывать, потому что не хочет хуже других быть...

То есть вы понимаете меня, – это черт знает что такое! Триста золотых червонцев – ни больше ни меньше!.. А ведь это-с тысяча рублей! Полковничье жалованье за целый год службы... Миллион карточек! Как это выговорить и предъявить такое требование к офицеру? Но, однако, я нашелся: червонцев у меня, думаю, столько нет, но честь свою я поддержать должен.

– Деньги, – говорю, – для нас, русских, пустяки. Мы о деньгах не говорим, но кто же мне поручится, что ты ей передашь, а не себе возьмешь мои триста червонцев?

– Разумеется, – отвечает, – я ей передам.

– Нет, – говорю, – деньги – дело не важное, но я не желаю быть тобою одурачен. Пусть мы с нею увидимся, и я ей самой, может быть, еще больше дам.

А кукуруза вломила в амбицию и начала наставление мне читать.

– Что ты это, – говорит, – разве можно, чтобы кукона сама брала.

– А я не верю.

– Ну, так иначе, – говорит, – ничего не будет.

– И не надобно.

Таковыми она меня впечатлениями исполнила, что я даже физическую усталость почувствовал и очень рад был, когда ее черт от меня унес.

Пошел в кофейню к товарищам, напился вина до чрезвычайности и проводил время, как и прочие, по-кавалерски; а на другой день пошел гулять мимо дома, где жила моя приглаголенная кукона, и вижу, она как святая сидит у окна в зеленом бархатном спенсере, на груди яркий махровый розан, ворот низко вырезан, голая рука в широком распашном рукаве, шитом золотом, и тело... этакое удивительное, розовое... из зеленого бархата, совершенно как арбуз из кожи, выглядывает.

Я не стерпел, подскочил к окну и заговорил:

– Вы меня так измучили, как женщина с сердцем не должна; я томился и ожидал минуты счастья, чтобы где-нибудь видеться, но вместо вас пришла какая-то жадная и для меня подозрительная старуха, насчет которой я, как честный человек, долгом считаю вас предупредить: она ваше имя марает.

Кукона не сердится; я ей брякнул, что старуха деньги просила, – она и на это только улыбается. Ах ты черт возьми! Зубки открыла – просто перлы среди кораллов, – все очаровательно, но как будто дурочкой от нее немножко пахнуло.

– Хорошо, – говорит, – я няню опять пришло.

– Кого? Эту же самую старуху?

– Да, она нынче вечером опять придет.

– Помилуйте, – говорю, – да вы, верно, не знаете, что эта алчная старуха какую не стоящую уважения особою вас представляет!

А кукона вдруг уронила за окно платок, и когда я нагнулся его поднять, она тоже слегка перевесилась так, что вырез-то этот проклятый в ее лифе весь передо мною, как детский бумажный кораблик, вывернулся, а сама шепчет:

– Я ей скажу... она будет добрее. – И с этим окном тую на крюк.

«Я ее вечером опять пришло». «Я велю быть добрее». Ведь тут уже не все глупость, а есть и смелая деловитость... И это в такой молоденькой и в такой хорошенькой женщине!

Любопытно, и кого это не заинтересует? Ребенок, а несомненно, что она все знает и все сама ведет и сама эту чертовку ко мне присылала и опять ее пришет.

Я взял терпение, думаю: делать нечего, буду опять дожидаться, чем это кончится.

Дождлся сумерек, и опять притаился, и жду в потемках. Входит опять тот же самый шалоновый сверток под вуалем.

– Что, – спрашиваю, – скажешь?

Она мне шепотом отвечает:

– Кукона в тебя влюблена и с своей груди розу тебе прислала.

– Очень, – говорю, – ее благодарю и ценю. – Взял розу и поцеловал.

– Ей от тебя не надо трехсот червонцев, а только полтора.

Хорошо сожаление... Сбавка большая, а все-таки полтора червонцев пожалуйте. Шутка сказать! Да у нас решительно ни у кого тогда таких денег не было, потому что мы, выходя из Польши, совсем не так были обнадежены и закупили себе что нужно и чего не нужно, – всякого платья себе нашили, чтобы здесь лучше себя показать, а о том, какие здесь порядки, даже и не думали.

– Поблагодари, – говорю, – твою кукону, а ехать с нею на свидание не хочу.

– Отчего?

– Ну вот еще: отчего? Не хочу, да и баста.

– Разве ты бедный? Ведь у вас все богатые. Или кукона не красавица?

– И я, – говорю, – не бедный, у нас нет бедных, и твоя кукона большая красавица, а мы к такому обращению с нами не привыкли!

– А вы как же привыкли?

Я говорю:

– Это не твое дело.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.